

Pierre Hassner, *François Furet et le libéralisme mélancolique*
Traduit en russe par Ekaterina Bélavina

Франсуа Фюре и меланхолический либерализм
Пьер Асснер

Тот, кто, как автор настоящего предисловия только что перечел бы разом все труды Франсуа Фюре, посвященные XX веку, после того как большинство из них были прочитаны по мере появления в течение 40 лет дружбы, совместной работы и близости взглядов, был бы поражен единством, разнообразием и последовательностью в эволюции его мысли.

Возможно ли без волнения перечитывать заключение его статьи об Андре Глюксмане, написанное в 1975 году – за 20 лет до “Прошлого одной иллюзии”, – которое намечает программу этой книги: ”Вспышкам смутного гнева, этим литературным воплям, по крайней мере, можно поставить в заслугу то, что они разбудили западную левую партию от слишком долгого благоговения, и следовало бы иметь терпение и мужество не сделать их источником новых пророчеств, но началом настоящей истории XX века. Пора приступить к вдумчивому описанию нашего недавнего прошлого и прекратить нападки на наши не оправдавшиеся надежды”?

В дальнейшем, между прочим, будет прослеживаться преемственность индивидуальных произведений Франсуа Фюре и коллективных трудов, проводившихся под его руководством, которые произвели революционный переворот в интерпретации Французской революции¹. Заметно будет его постоянное внимание к политическим событиям и интеллектуальным дебатам, к развитию Франции и Советского Союза, США и Израиля, к интерпретации исторических событий с точки зрения политики и видения современности в свете истории.

Историк революционной иллюзии

Все труды Франсуа Фюре свидетельствуют о нерасторжимой связи между двумя вышеупомянутыми направлениями работы и о важности этой связи. Получая премию Токвиля, он заявляет, что его критика революционной традиции идет от “недавней большой суматохи в нашем обществе”. Он признает автобиографический аспект, когда в заключении предисловия к “Прошлому одной иллюзии”, он заявляет, что “разделял эту иллюзию десять лет”, но поправился и вышел “с вопросами о революционных страстиах и получив прививку от псевдорелигиозного рвения в политической деятельности”. Такая постановка вопроса и такое отношение звучат во всех его исторических или политических произведениях.

На методологическом уровне он обосновывает совпадение двух подходов и пишет: ”Нет концептов, объясняющих прошлое, которые бы не передавали им часть настоящего и не маркировали бы, таким образом, историка. Напротив, без мысли о настоящем не

может быть никаких концептов вообще". И обоюдно "историк располагает всеми средствами, чтобы произвести остранение той грубой формы изменения, которую мы называем "современностью", отталкиваясь от того, что она имеет общего с прошлым, он может, таким образом, уловить одновременно повторяющийся элемент и совершенно новую часть."²

Прежде всего, он изучает сопоставление двух великих революций, французской и советской, которое постоянно присутствует в его трудах. Однако у него нет тенденции отождествлять их. Напротив, он выскаживается совершенно против "такого рода анахронизмов" и отказывается, например, применять понятия тоталитаризма и геноцида к якобинству и Вандее. Можно даже сказать, что излюбленная мишень его критики - это смешение двух революций, производимое советской интерпретацией французской Революции и ощущение большевиков, будто они переживали этапы этой революции в своей собственной.

В более общем смысле, его занимает не Французская или Советская революции, но тот соблазн, который они представляли и, в особенности, продолжение этого соблазна после провала обеих революций соответственно. Он упорно борется с "нечувствительностью человечества к историческому опыту" и с "обыкновением штопать верования, чтобы сохранить свои заблуждения". Иными словами, с отказом от фактов из-за безоговорочной привязанности к некой системе или мечтанию. Прежде всего, он посвящает свой труд истории иллюзий, особенно у интеллектуалов, в частности, французских, отделенных от события временем и пространством.

Делая это, он неизбежно расширяет рамки своей темы и предоставляет нам, часто косвенно, в некотором смысле, свою собственную интерпретацию истоков или последствий обеих революций, эпохи, которую они озnamеновали и той, которая их сменила. Не для того, чтобы пренебрегать общественными структурами, динамикой развития экономики или борьбой за власть, в чем его обвиняли. Но для того, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть центральное место политической деятельности, значение которой зачастую старались преуменьшить, в особенности школа "Анналов". С другой стороны, что особенно важно, чтобы своеобразно и глубоко обрисовать обширную тему, разработанную в частности Токвилем, Эли Галеви и Раймоном Ароном об отношении между идеями и страстью, начиная с демократических страстей и революционных идей.

Кризис либеральной демократии

Из этого следует несколько парадоксов, которые мы опишем детально. Фюре, прежде всего рациональный и справедливый, уравновешенный и беспристрастный наблюдатель, признает, что в момент написания "*Размышления о французской Революции*", он "сохранил глубокий интерес к политической деятельности, совпадающей с эмоциональной незаинтересованностью", он заставляет нас понять насколько, особенно в наше время, невозможно отделить политическое от эмоционального. Тогда историк и журналист преображается, почти не посягая на это, в философа.

Переходя от политики к политическим деятелям, он подходит на нескольких решающих страницах прямо к центральной проблеме политической философии, в том

виде, в котором в новое время ее обозначил Руссо: восстановление общественного и политического единства, исходя из эманципации и разделения индивидов. Вследствие чего Фюре, либеральный индивидуалист, склонен видеть источник тоталитаризма, коммунистический или фашистский, в кризисе либеральной демократии, и характеризовать этот кризис политическим и, возможно, духовным дефицитом, присущим либерализму.

Фюре заблуждается редко, но если это происходит, то лишь из-за противоречия между его личностью, лишенной догматизма и язвительности, и философского суждения в целом, к которому приводят его наблюдения и размышления. Лишь иногда на короткие моменты он поддается иллюзии верить, что его соотечественники, его сограждане, стали такими же, как он.

Наиболее прямо он высказывается в своих статьях и интервью, именно в них особенно ясно видна эта склонность. Неизменна в них полная свобода суждений об интеллектуальных течениях и о политической эволюции, свобода, рождающаяся из внимания к фактам и иронического дистанцирования по отношению к методам и приемам абсолютистским или тоталитаристским, драматическим или догматическим, будь они романтичны, системны или нравоучительны. Основная нить его рассуждений – это пустота оставшаяся после исчезновения коммунизма, который он судит, как и свое собственное прошлое, “без снисхождения и язвительности”. Фюре, почти единственный среди бывших коммунистов, не поддается ностальгии, не ищет утопию взамен и не стремится к манихейскому или полицейскому повороту событий. Он более дорожит людьми, нежели абстрактными идеями, сохраняя всю жизнь старых друзей и заводя новых, в независимости от расхождений в идеологических эволюциях, рассматривая с доброжелательной критикой новые появляющиеся лица, но с меньшей снисходительностью относясь к последовательному или противоречивому конформизму.

Также поучительны его сравнения между десятилетиями. В замечательной статье 1975 года *“Французские интеллектуалы и структурализм”*, он ясно доказывает, как культ структуры приходит, чтобы компенсировать субъективные и исторические разочарования. В 1980 году в статье, озаглавленной *“Будущее опаздывает”*, комментируя, опрос журнала *“Le Débat”* (*le Débat*), проведенный среди самых значительных и известных молодых интеллектуалов, он констатирует исчезновение марксизма, но удивляется некоторому примату нарциссизма и отсутствию общественной и политической направленности мысли, за исключением автора, с которым они полностью сходятся во взглядах, несмотря на разницу поколений: Пьер Розанваллон. Пятью годами позже, в книге Люка Ферри и Ален Рено *“Мысль 68”*, Фюре отдает должное этой теме, не преминув между тем подчеркнуть их пристрастную интерпретацию мая 1968 г., отсутствие Сартра и Леви-Стросса в их исследованиях и выразить некоторое сомнение в спасении кантианской и республиканской абстракцией.

De Голь и Миттеран

Французская политика не прекращала его интересовать и он не скрывал никогда своих симпатий и антипатий в сфере, все-таки не принимая прямого участия после своего

опыта работы во Французской коммунистической партии (PCF), в Объединенной социалистической партии (PSU) и временного технического сотрудничества с Эдгаром Фором, он мне сказал однажды: "Над нею [французской политикой] господствовало два человека, де Голль и Миттеран, ни тот, ни другой мне не нравились". Возможно, потому что он видел в обоих иллюзионистов, одного в области истории и большой политики, другого на уровне краткосрочного политического интриганства. Но, по поводу обоих, его вердикт изменился: к лучшему о де Голле, после Алжира, к в худшую сторону для Франсуа Миттерана, когда оказалось, что он еще меньше уважает республиканские устои, чем его известный противник.

Поразителен контраст между двумя текстами, которых разделяет всего 4 года. В первой статье "*Дзюдоист по имени Миттеран*" (2 мая 1991 г.) читается симпатия и что-то вроде соучастия: "Таким образом, мир, где мы живем, очерчивает круг, который ограничивает дерзновение мысли. Но это, по крайней мере, приятная тюрьма, где народы более счастливы, и мысль может извлечь пользу из того, что настоящее время несет в себе отказ от активного участия в политике, чтобы найти свое своеобразие. Что касается нашей истории, истории Франции, десять лет правления Миттерана от этого не потеряли сладко-горький вкус, меланхолическую прозаичность, они воплощают вновь обнаруженный смысл сложности вещей и относительность политики".

Четыре года спустя тюрьма кажется уже менее приятной, и тон Фюре становится мстительным. В статье "*Хроника разложения*", опубликованной в журнале "*Ле Деба*" в 1995 году, он пишет: "Вклад миттеранизма в кризис представительной демократии объясняется иллюзионизмом, из которого безыдейное правительство захотело сделать себе защиту". И далее: "Исчезновение коммунизма в Европе, наконец, показало миттерановскому социализму отражение его интеллектуальной и моральной несостоятельности".

Поскольку монархия становится все менее республиканской, происходит переход от харизматического доминирования к доминированию конъюнктурному, "у Миттерана смесь обеих разновидностей осложняется тем, что каждая из них несет в себе самого опасного: авторитаризм и фаворитизм возводят свои пороки в высшую степень".

Из этого видно, что Фюре, поборник комплексности и относительности, не склонен шутить, когда двойственность, которой благоприятствует ситуация, культивируемая главой государства, ставит под угрозу истину и демократию. Он всегда остается верен своей приверженности демократии, "политическому воплощению идеи всеобщности" (до такой степени, что, несмотря на безапелляционное осуждение коммунистического тоталитаризма и сближение, иногда чрезмерное, которое он проводит между революционными и антибуржуазными страстиами, несущими тоталитаризм и фашизм, он всегда напоминает, что первое - это патология всеобщего, тогда как второе - это патология частного). Но он никогда не забывает идею Токвиля о том, что поиск равенства может поставить под угрозу свободу.

Однако настоящий вопрос, поднятый в двух текстах о Миттеране, который отражается во всем творчестве Фюре, как, впрочем, и в трудах Реймона Аrona, не в этом. Она заключается в том, чтобы понять, не делает ли потеря великих иллюзий возможным приключение иллюзионистов средней руки, и могут демократические общества жить в

“меланхолическом прозаизме”, в сладко-горьком вкусе комплексности и относительности.

Французское исключение

Помимо суждения об опыте Миттерана, ответ Фюре на этот вопрос совершил полный переворот по отношению к случаю Франции. В 1979 году в контексте, в котором либерализм принимает, впрочем, специфические формы, как то отказ от частного (по поводу еврейской проблемы), он пишет фразу, которая перечитываемая сейчас, когда либерализм стал ругательным словом, заставляет улыбнуться: “в конце 1979 года в Париже существует как некая надменность либеральной мысли, которая мне кажется противоречащей духу либерализма.” В 1988 году он публикует совместно с Пьерром Розаваллоном и Жаком Жюльяром книгу “*Республика центра*”, труд, в котором три автора говорят об “окончании французского исключения”. Основная причина тому - закат коммунизма и голлизма, оппозиция и пособничество которого доминировали над Четвертой и Пятой Республикой. Но эта причина неотделима от заявления, сделанного в Фюре в книге “*Мыслить Французскую революцию*”: “Французская революция завершилась”. “Франция, пишет он, закрыла свой политический театр чрезвычайных событий. Она вернулась в общее право демократий, к которому ее история, какой бы великой она ни была, не дает готовых ответов.” Девять лет спустя, в своей последней статье, итог, подводимый автором, совершенно иной. Фюре оплакивает то, что основные партии во Франции в большей степени, чем в остальном мире, продолжают базировать свою программу на истории и говорить о проблемах современности в понятиях прошлого. “Итак, когда французы обращаются к своему прошлому, надо опасаться всегда страсти, с которой они его чествуют, чтобы избежать его учета.” Статья, написанная по случаю получения Лионелем Жоспеном поста Премьер-министра, заканчивается картиной Франции, которая является полной противоположностью “Конца французского исключения” и призывом к перелому. “Его избиратели ему представляют картину центристской страны, с навязчивой идеей своей своеобразия, с режимом социальной защиты, и ставшей загадкой для мира конца века, поскольку игнорирует его законы. Возможно ли разбить зеркало и остановить закат? Мы это узнаем в конце этой осени.”³

Мы узнали это. Десять лет спустя эти строки кажутся, тем не менее, не радикальным опровержением тезиса 1988 года, но пророческим предвосхищением ситуации 2005-2006 гг.. и его идеологической атмосферы.

Но настоящий вопрос не ограничивается случаем Франции. Он заключается в том, чтобы понять, не показывает ли нам французский опыт, сколь бы идиосинкразическим он ни был, чего-то большего, не указывает ли он на ограниченность, двусмысленность и, быть может, несостоятельность “общего права демократий” и ”закона мира этого конца века.” Этот вопрос касается всего современного пост- тоталитарного мира. Чтобы более детально изучить этот вопрос, нужно рассмотреть итоговый труд “*Прошлое одной иллюзии*” в сочетании с исследованиями Фюре и его коллег о посмертной судьбе Французской революции и дополнить их суждениями об опыте других демократий,

например, в Соединенных Штатах. Это позволит ответить на вопрос, опровергает ли, подтверждает или позволяет развить размышления Франсуа Фюре опыт десяти лет, отделяющих нас от его смерти.

Важность роли ненависти к буржуазии

“Прошлое одной иллюзии” предоставляет поле для такого размышления, поскольку это толкование истории, в котором есть доля философского сочинения, повествования, а также анализа событий и структур. Конечно, эта книга содержит главы, полностью посвященные фактам (как, например, глава которая производится разбор использования коммунистами темы антифашизма), очень живые портреты свидетелей трагедии (например, Пьер Паскаль) или действующих лиц (как Муссолини), описания среды (как в блестящей главе об антифашистской культуре). Но он начинает с анализа революционных страстей и заканчивает вопросом о будущем утопии и демократии.

Его метод, который не исключает, очевидно, отклонений и отступлений, мне кажется, точно совпадает с программой, заявленной в Оксфорде Ели Галеви в своем курсе лекций 1922 года, озаглавленном “Интерпретация мирового кризиса 1914-1918 гг.”: “Мы сконцентрировали наше внимание не на каких-либо махинациях того или иного государственного деятеля, не инцидентах дипломатической истории, но на общих движениях общественного мнения, на коллективных силах, которые еще до кризиса вели к перелому”. Этими силами были волнения, национальные и военные, с одной стороны, международные и революционные, другой. Галеви предлагает “новый метод рассмотрения истории, изучения действия и взаимодействия этих коллективных сил”. Он его применяет к отношениям между войной и революцией, и к тому, как они в сочетании приводят к “эре тирании”, которая является в то же самое время эрой “фанатизма и бескорыстных волнений”, “организации энтузиазма” и “продления военного режима в мирное время”.

Раймон Арон, в своей работе “Цепная реакция войн”, возобновляет тему взаимовлияния войн и революций, а также темы “диалектики крайностей”, а в книге “Опium интеллигентов” пишет о роли представлений и воображаемого, в особенности у интеллигентов, чувствительных к соблазнам идеологии.

“Прошлое одной иллюзии” содержит наиболее обширный синтез трех тем, общих для Фюре, Галеви и Аrona: войны 1914-1918, ставшие матрицей XX-ого века, как французской Революции была для века XIX; отношения между двумя враждующими братьями, коммунизмом и нацизмом; тайна их притягательности и, в частности, секрет сохранения этой притягательности, во всяком случае, на некоторое время и в меняющихся формах, несмотря на столкновение с реальностью и противоречие нравственным нормам”. Но его исследование имеет более глубокие корни: Токвиль и Руссо. Его личный вклад в разработку тематики революционных страстей в том, что он отводит центральную роль ненависти к буржуазии.

Следует несколько раз перечитать замечательную первую главу “Прошлого одной иллюзии”, где почти каждая фраза поражает своим блеском и глубиной, дает пищу для размышлений. Фюре настаивает “на исключительном парадоксальном характере буржуазии, еще одном названии современного общества, которому в политическом порядке, то есть в сообществе, не присвоено место. Оно построено целиком в

экономической сфере, это категорию, впрочем, создало оно само при своем рождении. Буржуазное общество, таким образом, по определению равнодушно к идее всеобщего блага. Буржуа – это индивид, отделенный от себе подобных, замкнувшийся в своих интересах и свои благах".

Тем не менее, проблема буржуазии и, в связи с этим, проблема современного общества этим не исчерпывается. "Разобщенность, закрытость возрастает, добавляет Фюре, поскольку постоянная страсть члена буржуазного общества заключается в увеличении расстояния, которое его удаляет от других людей: что значит стать богатым, кроме как стать богаче, чем сосед?" Отсюда "обеспокоенность будущим", которую анализировал Токвиль, это "сравнение себя с другим и оценка себя через восхищение или зависть других", в котором заключается самолюбие, согласно Руссо. Но от этого происходит "волнение, которое углубляет противоречия, вписанные в само его существование. Мало того, что это буржуазное общество образовано индивидами, мало склонными интересоваться общественной пользой. Еще и идея равенства-универсальности людей, которую оно объявляет своей основой, и которая составляет его новизну, постоянно отрицается неравенством собственности и богатства, полученным в состязании между членами общества. Его движение противоречит его принципам, его динамика противоречит его законности. Буржуазное общество постоянно плодит неравенство, в то время провозглашает равенство как неотъемлемое право человека".

Эти противоречия, от которых не отказался бы Маркс, приводят ко все более и более осложняющейся динамике кризиса. Они находятся, прежде всего, не на экономическом уровне, но на уровне политики и культуры, и, более того, на уровне утопий и страстей. Разница между США и Европой, в особенности Францией, наилучшее тому подтверждение. "На родине капитализма в высшей степени, в США, не было буржуазии, но был буржуазный народ, и в этом очень большая разница. Всё то сознательно буржуазное, что было в современной Франции, напротив, объясняется, прежде всего, политическими и культурными реакциями. Американский народ обладал капиталистическим разумом, но имел буржуазии. Французское политическое общество создало буржуазию, у которой не было капиталистического разума.

Это определило и отличия, и общие стороны Америки и Европы. Фюре отмечает "глубокое сходство стремления к равенству в обеих странах: поскольку, в конце XX века, навязчивая идея критиковать демократию от имени демократии не менее актуальна в США, чем во Франции или в Европе". Но к этой жажде равенства, матери современной демократии, Американцы никогда, даже сегодня, не примешивали ненависть к буржуазии: этой фигуры не существует, или почти не существует в политических столкновениях, они идут по другим путям, используют другие символы.

Напротив, в европейской политике вездесущая буржуазия вот уже на протяжении двух веков является общей мишенью для всех несчастных современности: для тех, кто инкриминируют современное состояние буржуазного мира, и для тех, кто упрекает его во лжи... Драма, в том, что один и тот же принцип управляет капитализмом и современной свободой: принцип свободы, а значит, плюрализма идей, мнений, удовольствий, интересов. Либералы и демократы его разделяют, так как он лежит в основании их концепций. Реакционеры и социалисты его отвергают, из-за потерянного

единства человека и человечества. Все культурные материалы хороши для тех, кто хочет бороться против буржуазного раскола общества. Все тот же вопрос, поставленный Руссо, пересмотренный в свете революционного опыта, в центре философии правых и левых, мы находим у Бональда и у Луи Блана: "Если мы – всего лишь индивиды, какой же общество мы образуем?"

Вот почему я посвятил несколько страниц воспроизведению анализов и формулировок, которые находим под пером Фюре. Они, на мой взгляд, предоставляют ключ к "*Прошлому одной иллюзии*" и проясняют окончательную политическую позицию ее автора. Они показывают, насколько неверно видеть в нем реакционера и апологета буржуазии, тогда как ненависть к буржуазии, общая, по его мнению, для фашизма и коммунизма, объясняется неспособностью буржуазии обеспечить себе законность в качестве правящего класса (в этом Фюре согласен с Шумпетером с его работой "*Капитализм, социализм и демократия*" и Даниэлем Беллем с книгой "*Культурные противоречия капитализма*"), и поскольку тоталитаризм правых и левых происходит от неспособности либерализма ответить на фундаментальные вопросы современной политики: вопросы единства и равенства.

Коммунизм и фашизм: от иллюзии к преступлению

Конечно, данное Фюре описание представителя буржуазии, находящегося в постоянной борьбе против самого себя и ненавидящего себя, применимо, главным образом, к интеллектуалам (им, по сути, посвящена его книга), а отнюдь не буржуазавоевателям или довольным буржуа, которые господствовали в XIX веке и сумели выжить, устранивая или поглощая своих противников.

Верно также, что четкий в своих основных утверждениях (фашизм как патология частного, коммунизм как патология универсального), он, возможно, не достаточно подчеркнул, что фашисты ненавидели буржуазию, поскольку она представляет господство вульгарности и упадок иерархического порядка и героической элиты, а коммунисты по противоположный причине: потому что она предает обещание всеобщего равенства.

К наблюдению, что коммунизм и фашизм развились и пришли к власти вследствие войны 1914-1918 гг., наблюдению, очень верному и глубокому, можно добавить в качестве критики следующее: Фюре не настаивает на значимости ностальгии по войне в успехе фашизма, а в успехе коммунизма на важности противостояния ей. Но эта поправка не затрагивает глубинной сути вопроса, поскольку, в обоих случаях, речь шла о военных доктринах. В случае нацизма речь шла о противостоянии внешнему миру, группам и расам, которые следовало устраниТЬ. В случае большевизма борьба велась с вездесущим классовым врагом, постоянно возрождающимся, что привело к "войне государства против своего народа", по выражению Николя Верта. То, что учение о всеобщности, равенстве и мире приводит, таким образом, к тирании и жестокости, – самый парадоксальный скандал XX-ого века, но это объясняет также явление, изученное Фюре: стойкость иллюзии, которая цепляется за первоначальные идеологические стремления,

чтобы оспаривать или оправдывать их преступное завершение.

Более обобщено, роль первой главы состоит в том, чтобы осветить рубеж XIX-XX веков, описать учения или зарождающиеся идеологии в народных движениях и в революционных действиях, через посредство правых, ставших в свою очередь массовым революционным движением.

В случае фашизма или нацизма, Фюре приписывает это превращение, прежде всего, опыту войны. Полемизируя с Эрнстом Нольтом, он отказывается видеть в этом реакцию на большевизм. Он представляет на протяжении всей книги "*Прошлое одной иллюзии*" столкновение этих двух тоталитарных режимов во время войн и революций, каждый из которых оправдывал свою власть борьбой против другого, до уничтожения одного и истощения противника, победой столь презираемой либеральной демократии, этого обесславленного капитализма, этой ненавидимой буржуазии.

Давайте предоставим читателю открывать для себя в "*Прошлом одной иллюзии*" идеологические перипетии этой трехсторонней борьбы (ее анализировал в "*Цепной реакции войн*" Раймон Арон, который, главным образом, стремился к политико-стратегическому аспекту, но умер чересчур рано, чтобы присутствовать при его завершении этой борьбы). Давайте сразу же обратим внимание на знаменитую финальную страницу труда, которая, перекликаясь с первой главой, составляет картину мира после битвы.

Фюре в начале книги констатирует, что падение Советского Союза оставило в мире много сирот - "Как будто закрылся самый широкий путь, когда-либо предложенный современному человеку в вопросе общественного счастья. [...] Коммунистические режимы должны за несколько месяцев были уступить место идеологиям, которые Октябрьская революция считала уничтоженными и замененными: частная собственность, рынок, права человека, "формальный" конституциализм, разделение властей - полный арсенал либеральной демократии. В этом смысле, это абсолютный провал, так как он стирает первоначальный замысел".

"Все-таки, добавляет Фюре, он затрагивает не только коммунистов и сочувствующих им. Он заставляет пересмотреть старые убеждения западных левых и само понятие демократии. Начиная с пресловутого "смысла истории" [...]. Лишенный Бога, демократический индивид видит, как божество-история дрожит, сотрясаемая до самых основ в конце этого века: ужас, который ему надо будет предотвратить".

Завещание Фюре

"К этой тревоге неуверенности присоединяется угроза закрытого будущего. [...] конец коммунизма возвращает его к основной антиномии буржуазной демократии. Комплементарные и противоречивые термины либерального уравнения, прав человека и рынка она вновь обнаруживает, как если бы они появились лишь вчера; она подрывает самые основы того, что составило революционный мессианизм на протяжении уже двух веков. Идея другого общества стала почти немыслимой, и впрочем, никто не продвигается в этой теме в современном мире, даже нет эскиза нового понятия. Мы осуждены жить в мире, в котором мы живем".

Или еще, в формулировке его последнего письма Эрнсту Нольту в год его смерти: "Таков меланхолический фон декорации конца этого века. Мы заключены в единственный горизонт Истории, вовлечены унификацию мира и отчуждения индивидов от экономики, осуждены на то, чтобы замедлять ее результаты, не оценивая их причины."

И вот мы, казалось бы, достигли вершин смирения (или глубин, как кому видится), смирения с ноткой консервативного удовлетворения. Но тотчас же Фюре нас удивляет снова: "Это слишком строгое условие, пишет он, оно противоречит духу современных обществ, оно не сможет продержаться долго. Демократия создает одним своим существованием потребность мира, следующего за буржуазией и за капиталом, где смогло бы расцвести настоящее человеческое сообщество. [...] но конец советского мира ничего не меняет в демократической потребности другого общества, и по этой причине можно даже спорить, что после громкого провала и очевидного подтверждения несостоятельности он будет продолжать пользоваться в общественном мнении смягчающими обстоятельствами и, возможно, восхищение им еще возобновится. Конечно, не потому, что коммунизм мог бы возродиться в той форме, в которой он умер. [...] но исчезновение его фигур, характерных для нашего века, скорее, закрывает эпоху, нежели завершает описание форм демократии".

Это приоткрытая дверь, *in extremis*, так сказать, к тому, что Клод Лефор называет, без сомнения, большим оптимизмом, чем Фюре "демократическим изобретением."

В заключении "*Прошлого одной иллюзии*", которое выступает в роли завещания Фюре поражает удивительное сочетание радикальности и комплексности. Это категоричное признание провала советского опыта, безоговорочное и без ностальгии, и вместе с ним признание несостоятельности коммунистической идеи. В этом заключении есть отказ, более общий, от идеи смысла истории, причинно илиteleologически определенного, и идеи общества без напряжений, без неравенств и без конфликтов, которое осуществило бы полностью обещания свободы, равенства и братства, содержащиеся в идеи демократии, общество, в котором, иными словами, реальная демократия воплотила бы понятие демократии. В нем есть и не менее твердая приверженность идеи демократии как единственной современной политической форме совместимой с идеями универсальности, свободы и справедливости.

Исходя из этого, на крайне насыщенных страницах заключения развертывается целая диалектика, которая прослеживается во всем томе, явно или косвенно.

Во-первых, именно либеральная демократия, которая, вопреки мысли Сартра, является, скорее, чем марксизм, недосягаемым горизонтом нашего времени, причиной неудовлетворенности и фрустрации, из-за несогласованности между ее фундаментальными составляющими, антиномией прав человека и рынка, небезопасности демократического индивида, неравенства, которое породила капиталистическая конкуренция, с которой тесно связан политический плюрализм.

Во-вторых, среди этих несовершенств и несогласованностей есть место для возможной и необходимой политической деятельности, ведущей к реформам экономическим и общественным, необходимым, чтобы смягчать эти недостатки и управлять возникающим напряжением.

В-третьих, Фюре констатирует кризис политической деятельности, обусловленный в особенности давлением не пересмотренного опыта прошлого, частично особенностями обстоятельствами той или иной страны, начиная с Франции и США, но также во врожденном политическом дефиците либерализма.

В-четвертых, этот дефицит с неизбежностью и иногда необходимостью провоцирует возрождение революционных утопий. Тем не менее, их роль положительна, только если они коротки и ограничены, иначе они могут запустить неистовый и смертоносный механизм террора или тоталитаризма.

В-пятых, наконец, на данном этапе никакое представление о "другом обществе" или положительная утопия не имеет настоящего содержания. Отсюда возникает явление революционных движений без революционного горизонта.

Свободный от любой ностальгии по революционному романтизму и от амбиций политической карьеры, Фюре соединил, в течение последних десятилетий своей жизни, два направления деятельности: одно, все более и более философское, - рассмотреть истоки современного тоталитаризма, и другое - способствовать на руинах тоталитаризма возрождению реалистичной и реформистской политики.

За просвещенную политику

Речь идет о том, чтобы после трагического опыта двадцати пяти веков выяснить то, что сделало его возможным, чтобы правильно начать, нужно рассматривать вопрос с точки зрения политики, которая, поверх идеологии, соблюдает соответствующую самостоятельность теории и практики, поддерживая между ними необходимый диалог.

С одной стороны, размышляя над судьбой революций, он все больше убеждается в значимости религиозной подоплеки. С другой стороны, он не прекращает высказываться за анализы и исследования, которые могли бы обновить дебаты и политическую и общественную деятельность: это смысл фонда Сен-Симона, предназначенного не для политического заговора, но для размышлений и диалога без личных и идеологических табу.

Программа его собственных размышлений, так же, как диалогов, которые он поощряет, хорошо очерчена в обширной статье 1990 г. "Сухие листья утопии". Его отправная точка - pari для просвещенной политики: "Нет фатальности в том, что современные граждане должны выбрать, заниматься ли своими делами или бороться за безумные идеи". Чтобы избежать этой альтернативы, он призывает к глубокому пересмотру политической культуры, в которой Европа живет уже двести лет. "Демократическая идея – это, более чем когда бы то ни было, правило, но она всего лишь подарила себе землетрясение на день рождения. Как нам выйти из этого и не измениться [...]? Отношения христианства и демократии, отношения республики и прогресса, отношения граждан к государству, диалектике формальных прав и социальных прав, агрессивность современного человека по отношению к природе - список великих вопросов длинен, ответить на них завтра нельзя будет так, как вчера. Для тех, кто хочет этим заняться, есть пища для размышлений".

И, однако, несколько лет, прошедших между написанием этой программы и смертью Франсуа Фюре, - скорее, годы разочарования.

Он констатирует, что Франция не может освободиться от своих мифов, которые ее парализуют, или что она этого не хочет. Он отказывается видеть, в "бархатных революциях" коммунистических стран Восточной Европы, какой бы ни была его симпатия к их организаторам, нечто иное, чем восстановление моделей, предшествующих коммунизму или имеющих место на Западе. И эволюция этих обществ доказывает, что он прав.

Он анализирует ситуацию в Израиле с теплотой и ясностью, но он не уверен, что его демократический характер сможет противостоять атакам внутренним и внешним, национализму и религии. Прежде всего, он следит часто с симпатией и иронией за эволюцией США, где он проводил каждый год один квартал. Он приветствует попытки Картера и Клинтона возобновить американскую демократию. Главным образом, он анализирует американский феминизм и моду "политически правильного" (politically correct) как оригинальные выражения демократических страсти, присущие именно Штатам. Но по поводу именно этих движений он формулирует свой диагноз, согласно которому речь идет о революционных страстиах без революционного горизонта, то есть без настоящего представления другого общества. Появление "анти-мондиалистов", называющихся себя "альтермондиалистами", и утверждающих, что "другой мир возможен", не наполняя ни малейшим содержанием это утверждение, с блеском подкрепляет его анализ.

Однако, что тоже немаловажно, Фюре также пессимистичен в отношении государства с умеренной и реалистичной политикой, которую он от всей души желал бы. В действительности, он пишет в конце 1994 г. в пророческих строках, посвященных "безумной демократии" США, "на американской сцене, как, впрочем, сцене Европы, сломались политические взгляды. Однако, вопреки ее репутации, она богата экстремизмом: political correctness у левых, библейский фундаментализм у правых. Но эти идеологии, ограниченные кругами меньшинства внутри каждого из обоих лагерей, получают влияние из-за того, что ничто существенное не наполняет пространство, которое их разделяет. Их шумные перепалки заполняют пустоту, не предлагая ни одного решения ни одной проблемы. Так, что, с обеих сторон, идеологи предлагают карикатурное изображение двух больших партий, и делают из политики машину разочарований".

Фюре, кажется, был последним, кто удивлялся, что эта "машина разочарований" производит аполитичность, предоставляющую полную свободу для корпоративизма, популизма, для оппортунистских манипуляций и коррупции, либо для бесодержательных революционных утопий, черпающих в абстракции потенциал нигилизма и насилия. Потрясение фундаментализма и кризиса политики правых и левых, перед насилием и перед социальными результатами глобализации, которые доминирует на международной арене, лишь укрепили бы в его сложном и осторожном отношении к двум великим взаимосвязанным явлениям, которым Фюре посвятил существенную часть своих трудов: утопия и революция.

В обоих случаях, он считает их в некоторые моменты неизбежной реакцией на

статус-кво, положение невыносимое и безвыходное, и иногда факторами, необходимыми для прогресса. Но, как пишет Ханна Арендт в своих книгах о насилии, он боится, как чумы, их укоренения и закрепления.

С 1986 года в беседе с Моной Озуф, Жаком Жюллярд и Жаном Даниэлем, он говорил об этом: "Я чувствую себя двусмысленно и двойственno, и я не думаю, что может быть иначе. Мы не можем не признавать феномен революции, хотя невозможно по определению мыслить его в правовых терминах. С одной стороны, лучше было бы, если бы эволюция Истории делалась без революции. Но не можем ее исключить в некоторых ситуациях. [...] я думаю, однако, что революции лучше всего быть короткими отклонениями. Самое худшее - это очень длинные революции, нескончаемое бесправие. [...] Единственная проблема с революциями состоит в том, чтобы суметь их закончить."

Между тем он признает так же, как Макс Вебер для диалектического материализма, что революция "не является каретой, из которой можно выйти по желанию". Он знает, как это показывает пример России, что конец революции не обязательно означает конец бесправия. Он признает вместе с Токвилем, что самое главное в постреволюционные периоды очевидно более спокойные, как и в периоды вскипания и бурления, состоит в том, чтобы сохранить "возвышенный вкус свободы" и уважение прав человека, эти единственныe противоядия от низких или неистовых страстей. Но он признает также, что человек живет не только свободой и правом. Он слишком хорошо знает и чувствует политику, чтобы ее сводить к позиции постоянного духовного протеста, или основывать ее только на правах человека или на гуманитарном сострадании.

В конце своей жизни, Фюре начал готовить книгу о Наполеоне. Без сомнения то, что его интересовало, прежде всего, - это, с одной стороны, непредсказуемость и необычайность его судьбы и, с другой стороны, как он вписывается в историю французского исключения. В любом случае, это не было связано, разумеется, ни с культом великих личностей, ни каким-нибудь бонапартистским желанием или ностальгией военных кампаний. Но я не могу воздержаться, заканчивая это предисловие, чтобы упомянуть конец книги "*Наполеон*" Жоржа Лефебвра, другого замечательного историка французской Революции, который цитирует знаменитый отрывок романа "Изгнанники" Мориса Баррэса (*Dégacines*). Семь героев, молодых людей, затерянные в посредственном и испорченном обществе, разыскивают, посещая могилу Наполеона в Доме Инвалидов, "профессора энергии" и мечтают о том, чтобы "аксиома, религия или принц человеческий" их подняли бы над ними самими.

Возможно, неявно и неосознанно, Франсуа Фюре чувствовал, что по выходе из революций XX века будущее могло принадлежать, не, как он надеялся, "всеобщему праву демократий", но новой волне пророков и новоявленных Цезарей. Возможно, он чувствовал себя в том же положении, что и современники Наполеона, к которым он был привязан, такие как Бенжамен Констан и Шатобриан, или их преемники, как Токвиль и Кинэ, или преемники их преемников, как Галеви и Арон: будучи свидетелями и иногда участниками потрясений и перипетий, причины которых они понимают, величием и преобразовательной силой которых они могут восхищаться иногда, они осуждают их угрозу для мира и свободы.

В любом случае, знание, которое он нам передает и иллюстрирует с блеском, состоит в следующем: перед "новыми грядущими бурями", выражаясь слогом его любимого Шатобриана, нет позиций столь достойных, ясных и спасительных, несмотря на все ограничения, чем меланхолический либерализм.

Этот очерк Пьера Асснера является предисловием к изданию политических сочинений Франсуа Фюре, которое вышло с этим квартале в коллекции Bouquins в издательстве Laffont под названием *Мыслить XX век*. (1184 стр.) Мы благодарим издателя и автора, которые согласились воспроизвести его здесь для наших читателей.

1 См. эти тексты в *La Révolution française*, Gallimard, coll. « Quarto », 2007.

2 *L'Atelier de l'histoire*, Flammarion, 1982, p. 30-31.

3 Речь идет о Лионеле Жоспене.

Revue des revues, sélection de décembre 2007

Pierre Hassner : « François Furet et le libéralisme mélancolique »
article publié initialement dans *Commentaire*, printemps 2007.

Traducteurs :

Anglais : Vandana Kawlra

Arabe : Selmane Ayache

Chinois : Yan Suwei

Espagnol : Arturo Vázquez Barrón

Russe : Ekaterina Belavina

Droits :

© *Commentaire* pour la version française

© Vandana Kawlra /CEDUST de New Delhi

© Selmane Ayache /Bureau du Livre de l'Ambassade de France en Algérie pour la version arabe

© Yan Suwei /Centre culturel français de Pékin pour la version chinoise

© Arturo Vázquez Barrón /Institut français d'Amérique latine pour la version espagnole

© Ekaterina Belavina /Centre culturel français de Moscou pour la version russe